

TABLE  
TALK

**# 1**

**АЛЕКСАНДР  
БОРОВСКИЙ**

# **РАЗГОВОРЫ ОБ ИСКУССТВЕ**

Издательство АСТ  
2018

УДК 73/76

ББК 85.1

Б83 Боровский, Александр Давидович

Разговоры об искусстве / А.Д. Боровский. — Москва:

Издательство АСТ, 2018. — 352 с. — (Table-Talk).

ISBN 978-5-17-101617-3

Александр Боровский — известный искусствовед, заведующий Отделом новейших течений Русского музея. А также — автор детских сказок. В книге «Не отнять» он выступает как мемуарист, бытописатель, насмешник. Книга написана в старинном, но всегда актуальном жанре «tabletalk». Она включает житейские наблюдения и «суждения опыта», картинки нравов и «дней минувших анекдоты», семейные воспоминания и, как писал критик, «по-довлатовски смешные и трогательные» новеллы из жизни автора и его друзей. Естественно, большая часть книги посвящена портретам художников и оценкам явлений искусства. Разумеется, в снижающей, частной, непретенциозной интонации «разговоров запросто». Что-то списано с натуры, что-то расцветено авторским воображением — недаром М. Пиотровский говорит о том, что «художники и искусство выходят у Боровского много интереснее, чем есть на самом деле». Одну из своих предыдущих книг, посвященную истории искусства прошлого века, автор назвал «незанудливым курсом». «Не отнять» — неожиданное, острое, незанудливое свидетельство повседневной и интеллектуальной жизни целого поколения.

© Александр Боровский, текст

© ООО «Издательство АСТ»



Английское словосочетание Table-talk связано для нас в первую очередь с Пушкиным. Папка с такой надписью была обнаружена среди его бумаг и собранные там заметки традиционно публикуются под этим названием. Эти тексты легче всего определяются словом «анекдот», только не в его теперешнем, а в тогдашнем понимании, объединявшем историческое свидетельство, остроумно высказанную мысль и, наконец, как и сегодня — смешной рассказ с неожиданным концом.

Считается, что и название, и идея сборника таких текстов подсказана Пушкину книгой знаменитого английского романика Сэмюэла Колдриджа, которую — это точно известно — он купил 17 июля 1935 года (примерно тогда же он начал собирать в папку листы с собственными записями). Впрочем и Колдридж тут не первооткрыватель — table talk это в принципе жанровое определение эссеистически-вспоминательно-остроумных заметок, причем каждый автор «разворачивал» этот жанр в интересную для него сторону (в библиотеке Пушкина, например, имелась книга эссеиста Уэльяма Хэзелитта с таким же названием — она вышла раньше колдриджевской и состояла из серьезных статей на этические темы).

Пушкинский Table-talk, который, действительно в какой-то мере, напоминает подготовительные материалы к застольной беседе, в полной мере отражает его интерес к прошлому, показанному, как он сам формулировал, «домашним образом». То есть через рассказ о небольших происшествиях, через воспоминания об остроумных, но не великих разговорах, через описания людей прошлого «в мелочах» с их слабостями и корявостями. Только так — опять же по словам Пушкина — история может быть показано современно.

Поэтому в пушкинском tabl-talk'е и примыкающим к нему «Разговорам с Н.К. Загряжской» заметки о влиянии Гете на Байрона или о происхождении арабских цифр соседствует с пересказом шуток Гнедича и Дельвига, записями воспоминаний о нравах двора Екатерины и Петра и воспоминаниями лицейской юности. Эти несколько десятков записанных «реплик» предьявляют и связь времен и их разрыв. Возможность (почти всегда) посмеяться произнесенной сто лет назад шутке куда отчетливей любых историко-социологических выкладок демонстрирует то, что люди вообще-то не меняются. Невозможность (тоже почти всегда) соответствовать делам и поступкам прошлого показывает, что все-таки — меняются очень.

Начиная (вернее, возобновляя) серию Table Talk, мы предлагаем как раз такой подход. Ненапыщенные записки о недавнем и относительно давнем прошлом — именно так современность может поглядеться в зеркало прошедшего.

Анна  
Наринская





## Чета Арнольфини

Мне лет десять. Гурзуф, Дом творчества художников. Там был директор, крупный, ядреный, не старый еще человек, седовласый. Отличался, по контрасту с благородной внешностью, чрезвычайной угодливостью к художникам «в силах»: академикам, секретарям творческих союзов и пр. Встречал, провожал, подсаживался в столовой. Моим родителям он чрезвычайно не нравился: во-первых, пытался не пускать меня в номер — якобы детям нельзя. На самом деле детям начальников было можно. Меня же и других не номенклатурных детей втаскивали в окна первого этажа на простынях, поначалу и до того доходило. Потом утряслось. Но главное, директор раздражал именно этой искательностью, уже несколько старомодной по тем временам. Он перебарщивал, это и старшие товарищи понимали. Однако принимали с улыбочкой: чего же вы хотите — старая школа, отставной энкаведист. И тут происходит следующее. Приехала отдыхать художница из Киева, старая еврейка (это я потом из разговоров родителей узнал, но не очень тогда представлял, что это слово значит), больная, с трудом поднимавшаяся по ступенькам. Не номенклатурная — директор ее не встречал. Случайно столкнулись в вестибюле. И мы там оказались, шли с пляжа, что ли. И вот эта пожилая женщина, увидев директора, впала в истерику. — Это он, он пытал меня в тюрьме в Могилеве, перед войной. Подлец, инвалидом сделал. Это он, старший лейтенант такой-то.

Что-то на о... Криворученко? Не помню... Кстати, у директора была другая фамилия, что не удивительно, как я теперь понимаю. Кадры берегли. Тех, кого не расстреляли под горячую руку на антибериевском пике, снабдили новыми фамилиями и пристроили втихую на хлебные места. — Помнишь меня, мерзавец?

Директор, надо сказать, отнесся ко всему хладнокровно. Видно, не впервой ему попадались бывшие:

все-таки дом творчества художников, контингент сложный, засоренный. Он бочком-бочком ретируется. И попадает в руки к оказавшемуся рядом отцу с его физической крепостью и всегдашней готовностью дать плохому человеку по морде. В данном случае подогреваемой очевидностью ситуации: сталинский палач, холеный и сытый, жертва-инвалид. Время хрущевское, антикультовый заряд еще не иссяк. К тому же гад: пытался ребенка не пустить в комнату, а перед всякой сволочью выслуживается... Кара была неотвратима. Даже энкаведист смирился и кричал что-то совсем уж неприличное:

— Не я это был, обознались. — И отцу: — Ответите!

Даже мама не делала запретительных жестов. Собиралась небольшая толпа художников. Сочувствующих директору не находилось. Даже помощники отцу выискали. И уже белая холщовая рубашка директора (под поясok, тогда уже казавшаяся старомодной, безобидно бухгалтерской, из фильмов тридцатых годов) затрещала. И первый раз по загревкy дали — хлопок такой резкий прозвучал. И тут появляется фигура Андрея Андреевича Мыльниковa. В пляжной пижаме. Он уже, кажется, был академиком и лауреатом, профессором уж точно. Он удивительным образом сочетал в себе высокого эстета, эдакого прерафаэлитa, и ленинградского убежденного карьериста. Конечно, и у него бывали срывы. На каком-то высоком съезде он выступал с речью от лица творческой общественности. Доверительно обращаясь к старцам президиума, сидевшим на возвышении под портретом Ленина его работы (эта чеканка на металлическом занавесе Дворца съездов присутствовала в телекартинке почти постоянно: в Кремле заседали и отмечали в режиме non-stop), он совершенно неожиданно вспомнил пушкинское: «Нет правды на земле. Но правды нет — и выше». Слава Богу, это уведомление не было воспринято дремлющими старцами адекватно, Андрею Андреевичу повезло. Но в целом он строго соблюдал баланс. Такой вот

эстетический эстетизм. Словом, человеческий и творческий тип был незаурядный. Так вот, Андрей Андреевич подошел неслышно. Он мгновенно оценил ситуацию. Не то чтобы он сочувствовал энкаведисту, вовсе нет. В ленинградской интеллигенции, даже успешной и чиновной, жила затаенная ненависть к этому сословию. Были причины. Опытный Мыльников с ходу просчитал последствия. Скандал с возможными политическими нюансами никому не был нужен. Тем более скандал в его присутствии. Барски снисходительно он взял отца под руку. И показал на старинные напольные часы (Бог знает, откуда попавшие в Дом творчества). Там, на бронзовом круглом маятнике, как в мутном выпуклом старинном зеркале, отражалась, с небольшим искажением, вся эта группа.

— Посмотрите, Дима, вылитый Ян ван Эйк. Чета Арнольфини.

С этими словами он достойно удалился. После такой высокой эстетической планки бить гада было уже несподручно. Дали пинка, и он исчез. Недели на две. Новую смену он уже встречал как ни в чем не бывало: заискивал перед начальниками, отчитывал рядовых членов творческого союза. Пятьдесят лет прошло. Отца и матери уже нет. Мыльникова тоже. И когда бываю в Лондоне, в Национальной галерее, и когда просто попадетсЯ под руку репродукция, внимательно рассматриваю «Портрет четы Арнольфини»: молодой негоциант с женой, и на заднем плане — круглое зеркальце. Там эта пара, соответственно, изображена зеркально, зато виден художник в тюрбане и еще какой-то человек. И все. И никакого ответа.

## Доктор

Подростком, как все ленинградские дети, часто болел ангиной. До сих пор вызывает неприятное чувство слово «Максимилиановка», так называлась единственная платная поликлиника, куда меня возили на такси, закутанного с ног до головы. Максимилиановские уколы в миндалины не помогали. Родители стали искать других врачей. Помню одного старичка, какого-то совсем старорежимного — тяжелое пальто, галоши, медицинский саквояж. Он был такой старый, что родители, похоже, усомнились: годен ли? Папа с некоторым сомнением снимал с него пальто: не проще ли сразу как бы незаметно — этой процедуры в то время стеснялись — положить в карман бумажку и проводить восвояси. Разоблачившись, старик развил бурную деятельность: потребовал воды, полотенце, серебряную ложку. Осмотрев дитяти горло, отмахнулся от вопроса об уколах, чем сразу мне понравился. Он прописал что-то совсем несусветное — ножные ванны с алюминиевой стружкой и чем-то там еще (к слову сказать, помогло. Так и обошлось без уколов и операций). Затем ему накрыли чай, и они с бабушкой, которая неожиданно прониклась к нему симпатией, стали очень мило беседовать про старые времена. Я запомнил такую историю.

— Мой незабвенный папочка был уважаемым еврейским аптекарем, — начал старик. Бабушка посмотрела на него с сочувствием, ожидая понятного каждому советскому человеку драматического развития событий. Но рассказ оказался оптимистичным. — Настолько уважаемым, что был избран осенью 1914 года в делегацию, которая должна была засвидетельствовать правительству поддержку в начавшейся войне. Все народности империи прислали такие делегации, и евреи, конечно, тоже. Царь принял эту делегацию и даже поблагодарил евреев за верность. — Бабушка одобрительно покачала головой. — Так вы представляете, в Виннице, в середине тридцатых мой незабвенный папочка, уже очень

старый, останавливал трамвай. Просто помахав тростью — его все знали. И вот он, не торопясь, входил в вагон, всегда с передней площадки. Останавливался, перекладывал палку в левую руку, а правую поднимал и показывал ладонь пассажирам: «Евреи, эту руку пожимал Николай Второй!».

## Душечка

Тип чеховской душечки у меня ассоциируется с одной искусствоведшей, Аленой Н. Очень милой женщиной, знающей, работавшей в московском музее. Я позвонил ей — дело было лет тридцать назад — после какого-то вернисажа, выпивший. Люди мы не местные, питерские. Как-то не озаботился, где в Москве переночевать, ну и напросился. Времена были легкие. К тому же знал, что она замужем. Так что никаких подводных камней быть не могло. Она легко согласилась, правда, предупредила: муж у нее уже другой, не тот, которого я знал, и просила ничему не удивляться. И вот я в квартире, раскланиваюсь с мужем, молодым человеком довольно странного вида: он был бородат; несмотря на позднее время и домашнюю ситуацию, одет в ветровку и вообще напоминал бесконечно далекий от нашего круга типаж итээровцев-туристов, из этих, «с гитарой за туманами». Вообще казалось, он только от костра, от мошкары, пропахший дымом... О дезодорантах большинство населения СССР вообще тогда не слыхивало... Как обещано, я не выказывал удивления. Но в комнате (а это была большая комната в коммуналке) раскрыл рот: посредине стоял большой надувной плот с какой-то — не знаю, как это называется, — каюткой-шалашиком посередине.

— Ты не удивляйся, — сказала Алена. — Мы теперь плотгоны. То есть мой муж плотогон, капитан плота, а я так, но экзамен на судовождение (или, скорее, плотовождение) уже сдала... По-настоящему будет, конечно, большой плот, а не надувной матрас, это мы так, привыкаем. Весной сплавляемся.

Мне постелили в коридоре на диванчике. Сами хозяйева полезли в каюту-шалаш. Привыкали. Спал я плохо: снился то ли Енисей, то ли Ангара, бревна под ногами ходили. Под утро, никого не разбудив, крадучись, ушел. С огромным облегчением. Пару лет звонить побаивался. Встретились в Третьяковке на очередном вернисаже. Алена

доложила, что все нормально, карьера в порядке, но муж уже другой. Говорила с таким нескрываемым трепетом, что я побоялся спросить — кто, чем занимается? К чему привыкают? Душечка!